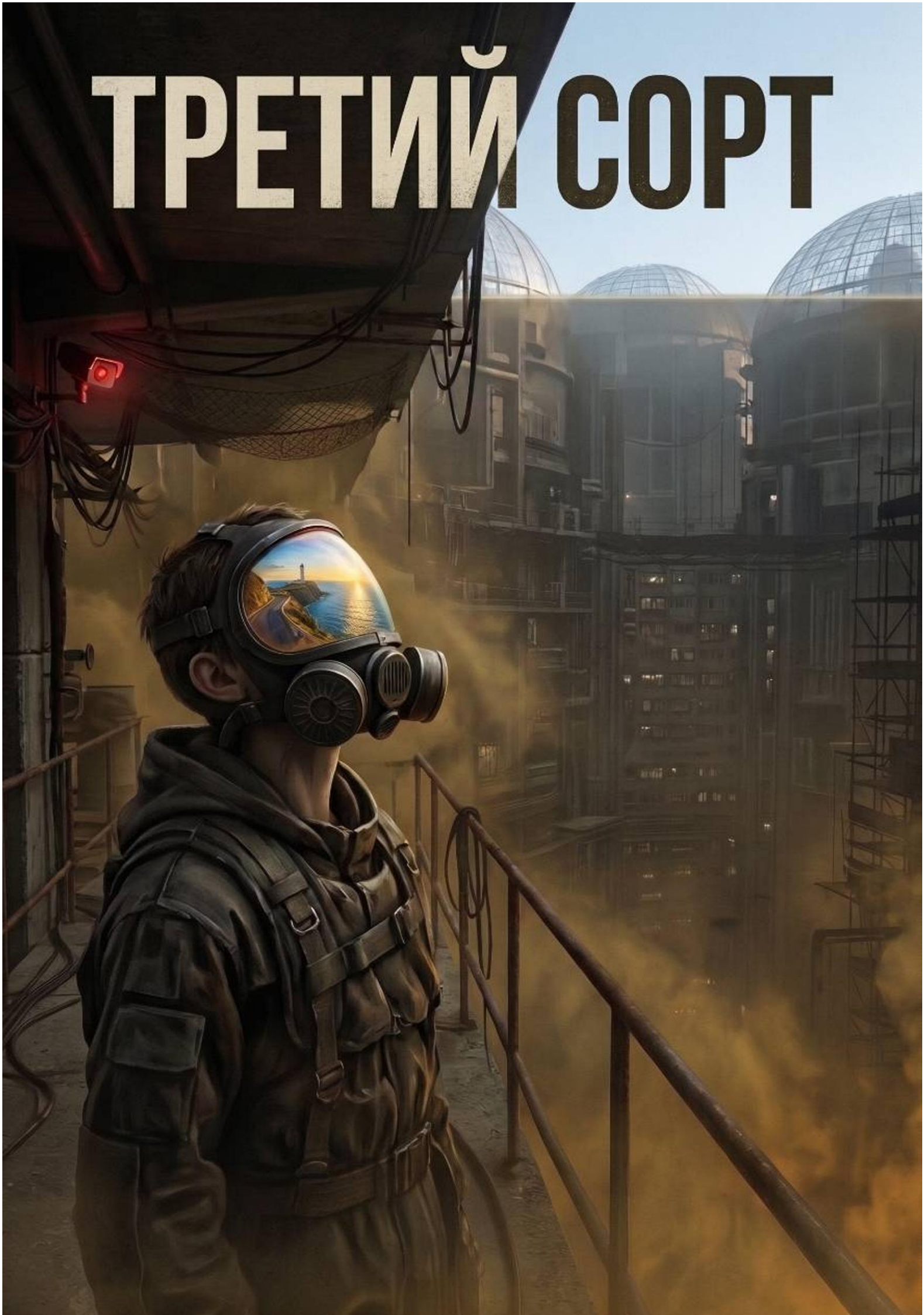
ТРЕТИЙ СОРТ



Майкл Стронг

Третий сорт

«Автор»
2026

Стронг М.

Третий сорт / М. Стронг — «Автор», 2026

Добро пожаловать в Страту. Государство, где люди живут в гигантских ульях-небоскрёбах. На дне, под плотным слоем ядовитой мути, копошатся 94% населения. Они едят серые суррогаты из переработанных отходов, дышат через изношенные фильтры-«лёгкие» и молятся, чтобы их индекс лояльности не упал ниже нуля. Наверху, под чистым куполом солнца, в садах и роскоши живёт элита. Среднего класса не существует.Шестнадцатилетний Маркус — один из тех, кто никогда не видел неба. Днём он влачит существование на дне улья, а по ночам надевает потёртый обруч виртуальной реальности и уходит в Горизонт — огромный, безупречный мир, где у всех равные права, где можно гонять на бешеной скорости по лазурному побережью и чувствовать себя живым, а не номером в базе.Но однажды реальность бьёт наотмашь...

© Стронг М., 2026
© Автор, 2026

Майкл Стронг
Третий сорт

Глава 1

Третий сорт

Шпилька Чайки

На семнадцатом километре машина справа вспыхнула.

Маркус заметил это краем глаза. Синий болид Кондора задним колесом зацепил бортик — и его закрутило. Он дважды перевернулся через крышу, высекая из белого камня искры, и его выбросило через ограждение в пустоту. Секунду машина висела над морем и медленно поворачивалась, как брошенная игрушка, а на её днище горело солнце. Потом она пошла вниз, к чёрным скалам в пене, и пропала из виду.

Внизу ударил столб воды.

Маркус не стал смотреть, как он оседает. Он смотрел на дорогу.

Дорога шла по самому краю скалы. Серпантин вился, нырял в короткие тоннели, выскакивал на свет и снова прижимался к обрыву. От обрыва его отделял только низкий бортик из белого камня. За бортиком было метров сто пустоты, а дальше море — огромное, синее, у горизонта почти чёрное, в белых гребешках. Солнце лежало на воде золотой дорожкой. Пахло солью, нагретой сосновой смолой и жжёной резиной. Береговой серпантин: семнадцать поворотов, два тоннеля и Шпилька Чайки перед самым финишем.

Со старта ушли четырнадцать машин. Осталось шесть.

— Фалькон, у тебя Граф на хвосте, — сказал в ухе Финч, сухо и быстро. — И Бык слева, корпус в корпус. Они работают вдвоём.

— Бык тебя не догонит, — перебил Бо. — У него правое переднее с задирами, я смотрел запись квалификации. Он на торможении всегда уходит влево, потому что боится правого борта. Заставь его тормозить в повороте — он сядет на камень.

— Бо, помолчи, — сказал Финч.

— Сам помолчи. Я этого ублюдка три заезда смотрю.

В полированном боку внедорожника, как в зеркале, отражалась машина Маркуса и он сам за рулём: широкие плечи, сухие длинные мышцы предплечий, кожа, тронутая ровным загаром, выгоревшие почти до белого волосы, перехваченные на лбу тонким ремешком, узкое лицо, тёмные глаза, бровь с маленьким белым шрамом. Он выглядел так, как выглядит человек, которому всё удаётся: спокойно и чуть насмешливо. Такого оборачиваются проводить взглядом.

В зеркале заднего вида висела серебристая морда Графа.

— Коробочка, — сказал Финч. — Бык прижмёт тебя к бортику, а Граф тем временем пройдёт по внутренней. Классика.

— Да разнеси ты этого ублюдка! — заорал Бо так, что в ухе затрещало. — Он же корова! Тормозни, пропусти — и в зад ему, в зад!

— Не вздумай, — сказал Финч. — Бык вдвое тяжелее. Это не ты его разнесёшь, а он тебя.

Чёрный бок качнулся и ударил.

Удар отдался в зубах, в позвоночнике, в рёбрах, и на секунду потемнело в глазах. Машину отбросило вправо, к бортику. Камень мелькнул у самого колеса, колпак диска с визгом чиркнул по ограждению. Внизу, в ста метрах, прибой бился о скалы.

Бык отошёл на метр и ударил снова.

На этот раз Маркус был готов. Он тормознул — коротко и зло, — и Бык промахнулся и пронёсся мимо. Тяжёлый нос внедорожника качнулся вправо, в пустоту, туда, где только что была красная машина. Бык выкрутил руль, чёрная машина вильнула задом и удержалась на дороге — но правым колесом всё-таки зацепила камень.

— Вот! — торжествующе заорал Бо. — Вот! Я же говорил!

А сзади уже налетал Граф.

Удар пришёлся в бампер. Маркуса бросило на руль, ремень врезался в грудь. Машина пошла юзом, и мир крутанулся: скала, море, небо, скала. Маркус ловил руль, а руль вырывался

из рук, как живой. Это длилось вечность, а может, полсекунды. Потом колёса снова схватили асфальт, и машина выровнялась. От угла лобового стекла побежала трещина.

— Живой? — спросил Финч, впервые без своей сухости.

— Живой.

— Тоннель. Через двести метров. После выхода сразу излом, сто двадцать метров, не больше.

Тоннель хлопнул по глазам темнотой. Рёв двигателей ударил в стены и вернулся вдвое громче, огни на сводах слились в одну белую нить. В темноте кто-то закричал по общей связи. Потом скрежет, удар — и сзади полыхнуло рыжим: двое из шести не поделили полосу. Маркус не обернулся.

Из тоннеля их вылетело четверо: Маркус, Бык, Граф и какой-то незнакомец в жёлтом, номер одиннадцать.

Впереди была Шпилька Чайки — поворот почти на сто восемьдесят градусов вокруг одинокой скалы, на которой всегда сидели чайки. Самое узкое место трассы и самое красивое. На записях Шпильки, которые потом крутили по всем экранам, люди ставили на паузу кадр, где машины зависают на внешнем радиусе над обрывом, и разглядывали его, как картину.

Бык шёл по внешней, Граф по внутренней, а Маркус оказался ровно между ними. Это и была коробочка.

— Фалькон, — очень тихо сказал Финч. — Оба не тормозят, если видят, что ты тормозишь.

— Он врёт, — сказал Бо. — Граф тормозит. Граф всегда тормозит первым, он трус, я смотрел его шесть заездов. Он ударит, а потом испугается и сбросит. Он не пойдёт с тобой в поворот на такой скорости. Никогда не пойдёт.

Маркус знал.

Перед Шпилькой тормозят все. Это закон, это физика. Он тормозить не стал. Он выжал газ, и красная машина рванула вперёд — в щель между чёрным и серебристым, куда не пролезла бы и ладонь. Бык качнулся к нему, чтобы зажать. Граф качнулся тоже — и в последний момент сбросил.

Полсекунды. Этого хватило.

Чёрный внедорожник и серебристый болид встретились там, где только что была красная машина.

Раздался звук, будто лопнул железный шар. В зеркале Маркус увидел, как чёрное и серебряное сплелись, вздыбились и пошли через бортик. Белый камень брызнул крошкой, чайки с криком сорвались со скалы. Две машины, сцепленные, как в объятии, медленно перевалились через край и ухнули вниз.

Маркус вошёл в поворот на скорости, на которой в Шпильку не входил ещё никто.

Задние колёса отпустили дорогу. Машина пошла боком — плавно, широко, к самому краю, туда, где кончался асфальт и начиналось небо. Пена прибоя внизу была ближе, чем когда-либо. В метре от его лица зависла чайка и удивлённо раскрыла клюв. Он чувствовал, как правое заднее колесо идёт по самой кромке и как под ним крошится край.

Потом он выровнял машину и выстрелил из поворота, как камень из рогатки.

Жёлтая машина номер одиннадцать вошла в Шпильку следом и не вышла. «Новичок, — подумал Маркус. — Новички всегда повторяют одни и те же ошибки».

Финишная прямая вела к маяку на мысе. Над финишем висела арка из живых цветов, синих и жёлтых. Маркус пролетел под ней, и в воздух взлетели лепестки.

— Фа-а-алько-о-он! — ревел Бо так, что звенело в ухе. — Ты их обоих! Обоих сразу! Я же говорил, Граф — трус!

— Двадцать сантиметров, — сказал Финч, и по голосу было слышно, что он улыбается. — От колеса до края было двадцать сантиметров. Я посчитал.

Голос комментатора назвал его имя. Победа. Пятьсот призовых, ещё двести за рекорд Шпильки и сотня за то, что финишировал один.

Маркус остановил машину, откинулся на спинку и закрыл глаза. Руки дрожали, сердце колотилось где-то в горле. Солнце грело веки изнутри, оранжевым. Маркус оставался в болиде, пока не перестало трясти.

* * *

Потом они сидели на камнях у подножия маяка и ели персики.

Персики продавала с тележки у дороги старуха в соломенной шляпе. Они были тёплые от солнца, тяжёлые и такие спелые, что сок тёк по пальцам, по подбородку и капал на штаны. Бо съел пять и потянулся за шестым. Финч ел аккуратно, над ладонью, как будто экономил. Маркус ел медленно и держал каждый кусок во рту, пока тот совсем не таял.

Познакомились они три года назад, на гонках, на ночной трассе в пустыне. Маркус взял третье место в первом же своём заезде. Финч и Бо приехали последними из последних. Точнее, Бо не приехал вовсе: он вошёл в поворот на скорости, которую выбрал сердцем, и остался в песке вместе с машиной. Финч доехал — на трёх колёсах и с таким отставанием, что над ним смеялись даже судьи.

А потом, в ту же ночь, они нашли его сами.

— Слушай, — сказал Финч. — У тебя талант.

— У меня третье место.

— У тебя талант, — повторил Финч. — Ты проехал двенадцатый поворот на скорости, до которой там не доезжает никто, и даже не сбросил. Я смотрел запись четыре раза.

— А я смотрел на других, — сказал Бо. — Знаешь, почему мы проиграли? Не потому, что плохие гонщики. Потому что ехали вслепую. Ты про остальных ничего не знаешь, ты просто быстрый. А быстрый без головы — это покойник с красивой машиной.

Так они и поделили дело.

Финч рисовал карты. Он знал каждую трассу на память, каждый поворот, каждую яму, каждый метр асфальта отсюда до пустыни, и на тренировках проходил маршрут вместе с Маркусом, поворот за поворотом, пока ноги не запоминали торможение раньше головы. Иногда Финч заставлял его ехать с закрытыми глазами и вслух называть, где следующий излом. Иногда — ехать в темноте, по памяти, на слух.

Бо собирал сведения о соперниках. Он смотрел их заезды, запоминал, кто как тормозит, кто боится правого борта, кто срезает, кто покупает второе место и сколько за это платит. Он знал привычки всех, кого можно было встретить на старте, и половину тех, кого встретить было нельзя. А в гонке он садился на связь и говорил в ухо то, чего не было ни в одной карте.

Штурманом он был лучше Финча. Финч считал, и считал точно, но считал долго. Бо не считал вовсе. Бо просто знал.

Несколько раз в неделю они выходили на старт и брали искры с призовых. В остальные ночи тренировались.

Призовые делили так, как придумал Финч: половина гонщику, по четверти на каждого штурмана. Маркус каждый раз предлагал делить поровну. Они каждый раз отказывались, и Бо говорил:

— Малыш, ты тут единственный, кто рискует. Мы только карту держим.

— Совет, — сказал Бо, вытирая бороду, — это сборище жирных крыс. Сейчас я скажу громко. Слушайте все.

Он поднялся на камень, сложил ладони рупором и заорал в небо:

— СОВЕТ — ЖИРНЫЕ КРЫСЫ! ЧТОБ ВЫ ПОДАВИЛИСЬ СВОИМИ ПЕРСИКАМИ!

Чайки обиделись и улетели. Больше ничего не произошло.

— Полегчало? — спросил Финч.

— Немного. — Бо тяжело опустился обратно. — Каждый раз немного. Если б не это, я бы давно кому-нибудь шею свернул. Там.

Он мотнул головой куда-то неопределённо — то ли за море, то ли сквозь землю. Никто не стал уточнять.

Маркус смотрел на маяк. Белый, старый, с облупившейся краской, а наверху чёрный фонарь, который никогда не горел. Маяка не было ни на одной карте. Финч нашёл его полгода назад, когда искал объезд, и с тех пор трасса шла сюда, а финиш поставили у его подножия. Маркус любил это место, сам не зная почему. Здесь ему было спокойно, будто он когда-то уже бывал здесь — давно, в детстве, которого не было.

— Знаешь, кто его поставил? — спросил Финч, проследив его взгляд.

— Кто?

— Никто не знает. Его нет ни в одном реестре, ни в одной описи. Говорят, такие места ставили для себя инженеры. Строили дороги, мосты, города, а себе тихонько оставляли тайные уголки, про которые больше никто не знает.

Маркус медленно повернулся к нему.

— Кто?

— Инженеры. — Финч посмотрел на него поверх очков. — Ты что, не знаешь, кто такие инженеры?

— Знаю, — соврал Маркус. И тут же спросил: — А кто?

Бо хохотнул. Финч подумал и поправил очки.

— Люди, которые придумывают, как устроены вещи. Не делают их, а придумывают. Вот эта дорога. Этот маяк. Машина, на которой ты едешь. Сначала кто-то понял, как всё это должно работать, — это и был инженер. Раньше их было много. Потом, говорят, их всех забрали наверх, и слово потихоньку исчезло. Нет людей — нет и слова. — Он помолчал. — Там, внизу, его вообще лучше вслух не говорить. Я бы не стал.

Маркус ничего не ответил. Он смотрел на маяк, на его чёрный мёртвый фонарь, и чувствовал, как в груди медленно и неловко что-то поворачивается — как ключ в давно не открытом замке.

Это слово он уже слышал. Один раз, очень давно.

— Ладно, ребят, — сказал он. — Мне пора. Ночной тариф заканчивается.

— Опять? — скривился Бо. — Только сели.

— Тариф, — повторил Маркус.

— Тариф, — эхом отозвался Бо, и в его голосе было столько всего сразу, что спорить никто не стал.

— Завтра в час ночи, — сказал Финч. — Северное плато. Я там кое-что нашёл. Ты должен это увидеть.

— Буду.

Маркус встал, отряхнул штаны от песка и пошёл вверх по склону, к дороге. Бо что-то крикнул ему вслед, Финч засмеялся. Шумело море, ветер был тёплый и пах солью. На середине склона Маркус обернулся. Золотая дорожка на воде, белый маяк, чёрный фонарь. Он вдохнул так глубоко, что заболело под рёбрами, будто хотел унести этот воздух с собой.

А потом всё погасло.

* * *

Темнота.

Не та, что в тоннеле, — живая и быстрая. Эта была густая, неподвижная, и она пахла. Пахла кисло и тепло: телами, старым силиконом, сыростью, которая десятилетиями жила в бетоне. Этого запаха Маркус никогда не замечал — кроме первых секунд. В эти секунды он замечал всё.

Голова гудела, виски ломило там, где в кожу впивались контакты. Во рту стоял вкус персика, сладкий и густой, и его медленно смывала собственная слюна — пресная, с привкусом железа. Живот скрутило: тело вспомнило, что последний раз его кормили вчера в семь вечера. Там он съел три персика. Здесь не ел ничего.

Он лежал на спине на верхнем ярусе двухъярусной кровати и долго смотрел в потолок, до которого можно было дотянуться рукой. Потолок был серый, в разводах конденсата. В одном месте разводы складывались в лицо. Маркус дал ему имя ещё в детстве, лет в пять, а потом забыл. Ноги, которые только что вжимали педаль в пол на краю обрыва, затекли и не слушались. Руки, которые держали руль, были тонкие, с выпирающими косточками на запястьях. Он поднял одну и посмотрел на неё в темноте, как на чужую.

Маркус медленно стянул с головы обруч.

Обруч был первого поколения — из тех, что делали в самом начале, чуть ли не вручную, когда Горизонт ещё называли дорогой игрушкой для тех, у кого есть свободное время. Толстая металлическая дуга, шестнадцать широких контактов на вытертой до блеска коже, шершавый разъём под шлейф. Он грелся так, что на лбу оставался красный след, и пах горячим пластиком. Два контакта были оплавлены, один подводил и иногда щёлкал в виске, как статикой. Маркус купил его в подземке два года назад за сорок единиц и с тех пор ни разу не пожалел. Точнее, жалел каждую ночь. Но другого у них не было и не будет.

Фалькон остался там, у маяка. Здесь был Маркус. А для Государства и того меньше — М3007.

* * *

Горизонт.

Так назывался мир за обручем. Туда уходили семеро из каждых десяти, кто хоть раз надевал венец: кто-то на час после смены, кто-то на всю ночь, а кто-то насовсем.

Обруч не показывал картинку. Обруч её делал.

Это трудно объяснить тому, кто ни разу не надевал венец, и не требует объяснений тому, кто надевал. Если мозг чувствует — значит, чувствует и тело. Маркус знал вкус персика, потому что у него во рту был персик: тёплый, волокнистый, с косточкой, которую он потом выплюнул в траву. Знал запах горячей смолы, потому что этот запах стоял у него в носу. Знал, как саднит рассечённую бровь и как ноют пальцы после поворота, потому что кожа и пальцы болели по-настоящему.

Горизонт был огромен. Там были горы и моря, леса и пустыни, города с улицами, по которым ходили без масок. На площадях били фонтаны, в кафе за столиками на тротуаре сидели люди и пили что-то холодное из высоких стаканов. Там водили машины, летали на планерах, ныряли, строили дома и сажали сады. До конца его не изучил никто; говорили, что он растёт быстрее, чем его успевают исследовать.

Друзей своих Маркус не видел никогда.

Ни лиц, ни голосов, ни настоящих имён. Три года назад он познакомился с двумя людьми, с которыми с тех пор проводил каждую вторую ночь, и всё, что он о них знал, он знал с их слов. Финч мог оказаться стариком из соседнего улья. Бо мог оказаться худой девчонкой с фабрики брикетов, и Маркус даже не смог бы этому удивиться, потому что удивляться было нечему: он не знал, как Бо выглядит.

Так было заведено, и это было единственное правило, которое в Горизонте соблюдали все. Там не спрашивали, кто ты. Считалось, что человек имеет право хотя бы в одном месте на свете быть только тем, кем сам себя назвал.

Фальконом (Соколом) он тоже назвался сам. Ему было двенадцать, и он ещё верил, что имя что-то решает. Перебрал десятки — громких, коротких, злых, — пока не остановился на

слове, от которого пахло высотой: птица, которая поднимается выше всех и бьёт сверху. Выше мути. Выше черты. Выше самих Куполов.

Теперь он знал, что выше Куполов не живёт ничего. Но имя не сменил. Имя было единственным, чего у него не могли отнять ни Государство, ни Око, ни Серые. Внизу у него был номер — выданный. Там было имя — выбранное. Разница оказалась больше, чем он думал в двенадцать лет.

На этом и жила их тройка. Финч рисовал карты: каждая новая тропа, каждый найденный водопад, пещера или брошенный город, которых ещё не было в общем атласе, приносили искры — валюту Горизонта. Бо собирал сведения о тех, с кем предстояло ехать. А Фалькон выходил на старт.

А ещё в Горизонте можно было умереть — и не умереть.

Кондор, Бык, Граф и новичок в жёлтом остались там, под Шпилькой, в скалах. Сейчас все четверо лежали в таких же ячейках, как эта, их рвало в подставленные тазы, а головы раскалывались так, что хотелось выть. Так в Горизонте умирали: обруч выкидывал тебя рывком, как пробку из воды. Шесть часов отката — и можно входить снова. Никто никуда не девался. Никогда.

Только у шунта, говорили в подземке, правила другие.

И было в Горизонте ещё одно — важнее моря, персиков и гонок. Там можно было говорить. Можно было крикнуть в небо что угодно: про Совет, про Купола, про цену воздуха, про то, куда увозят тех, кто отдышался на лестнице. Никто не знал, кто ты, — ни по лицу, ни по голосу, ни по номеру, потому что номеров там не было. Там был Бо, который орал на чаек, был Финч в круглых очках и был Фалькон, прошедший Шпильку в двадцати сантиметрах от неба.

Говорили, что даже Совет не может заглянуть в Горизонт: анонимность зашита в самое его сердце, так глубоко, что не выковырять. Говорили и обратное: Совет видит всё, просто пока ему выгодно не смотреть. Маркус не знал, кому верить. Бо верил первым. Финч, кажется, не верил никому.

В углу под потолком светилась красная точка.

Око. Чёрная полусфера размером с кулак, вмурованная в бетон. Такие были в каждой ячейке каждого улья, на каждом ярусе, в каждом лифте и на каждой галерее. Око не мигало и не спало. Оно слушало. Не всё подряд — разобрать сто миллионов голосов разом не смог бы и Совет. Логичнее Око было бы назвать Ухом, потому что оно не смотрит, а слушает, но в народе почему то закрепилось именно такое название. Око было как сторожевой пёс: знало несколько сотен слов, от которых просыпалось, и несколько тысяч, от которых делало пометку. А дальше пометки собирались, складывались и однажды превращались в стук в дверь. Пометки ложились в индекс лояльности. Индекс хранился в браслете, рядом с номером, и от него зависело всё: сколько тебе нальют воды, какой продадут кирпич, возьмут ли на работу, пустят ли в лифт. Скажешь под Оком не то — индекс поползёт вниз. Скажешь совсем не то — придут Серые.

Серых Маркус видел один раз, три года назад. Они пришли за соседом из 41-17, дядькой Тобиасом, весёлым и вечно небритым. Тобиас выпил браги, которую в подземке гнали из гидропонных очистков, и пошутил в лифте. Что именно он сказал, потом никто не мог вспомнить: какую-то глупость про Совет и про то, чем пахнет в Куполах. Через сорок минут пришли Серые — четверо, в глухих серых шлемах без лиц, с электрическими дубинками на поясе. Тобиас не сопротивлялся. Он только оглянулся в дверях на жену и сказал: «Ну ты чего, Мира. Ну я же скоро». Больше его никто не видел. Через неделю Миру с детьми переселили ярусом ниже, ещё через месяц в их ячейку въехали другие. Говорили, что она просила вернуть хотя бы браслет. Ей не вернули: браслет — собственность Государства.

После этого на сорок первом стали говорить ещё тише.

Лёгкое хрипело.

Маркус услышал его не сразу, но, услышав, уже не мог перестать слышать. Свистящий вдох, булькающий выдох. И снова вдох.

Лёгким называли домашний воздушный фильтр — большой короб из мутного пластика на стене над маминой кроватью. Он втягивал воздух через нижнюю решётку, прогонял через три слоя картриджей и выдыхал через верхнюю, чуть тёплым, с привкусом озона. Пластик был серый, шершавый, переплавленный, наверное, уже в сотый раз: нового пластика не делали двести лет, делать было не из чего. На коробе горели два индикатора. Зелёный значил, что фильтр работает. Жёлтый — что картридж выработан на девяносто процентов. Жёлтый горел пятый день.

«Если лёгкое свистит, значит, через неделю засвистит у тебя в груди», — говорила мама. Это была не поговорка. Это была медицина.

Часы над дверью показывали 04:29. Через минуту кончался ночной тариф. Днём электричество стоило втрое дороже, и днём в их ячейке не горело ничего, кроме лёгкого, которое выключать было нельзя. Поэтому Маркус и уходил в Горизонт по ночам — с полуночи до половины пятого, когда обруч ел втрое меньше. Поэтому и знал, что ровно через минуту…

04:30. Внизу скрипнула кровать.

Мама вставала в половине пятого. Всегда.

* * *

Ячейка у них была типовая, «С-12». Двенадцать квадратных метров. Архитекторы Страты, люди безусловно талантливые, вписали в них жизнь трёх человек и ещё оставили немного места для воздуха.

У одной стены стояла мамина кровать — узкая, на металлических ножках, с тонким матрасом. Под ней хранилось всё, чем владела семья: два пластиковых ящика с одеждой, коробка с бумагами и коробочка поменьше, мамина, которую трогать было нельзя. У другой стены стояла двухъярусная кровать: наверху Маркус, внизу Лия. Проход между кроватями был ровно на одного человека. Чтобы разминуться вдвоём, одному приходилось прижаться к стене и выдохнуть.

У окна откидывался на двух шарнирах стол, рядом стояли два табурета, которые на ночь ставили один на другой. Дальше шла ниша-кухня: кран, металлическая раковина размером с миску, плитка на одну конфорку и шкафчик над ней. Под раковиной стоял бак на тридцать литров с краником. За пластиковой дверцей прятался туалет, тесный, как шкаф: унитаз без бачка, с ручной педалью смыва и счётчиком, который за каждое нажатие списывал плату с браслета.

Душа не было.

Душ был легендой, вроде солнца. Маркус знал, что это такое: вода льётся сверху сразу на всё тело, много воды, просто так. Однажды в Горизонте он стоял под водопадом и понял, что это, наверное, похоже. Здесь мылись салфетками. На человека в сутки полагалась одна — плотная, влажная, пропитанная чем-то едким, в серой упаковке с маркировкой «Гигиена-3». Ею протирали лицо, потом шею, руки, подмышки, потом всё остальное — в строгом порядке, сверху вниз, чтобы хватило. Раз в неделю выдавали ещё одну, для головы. Использованные салфетки не выбрасывали: их сушили на верёвке над плитой и сдавали в пункт приёма, где за двадцать штук давали полъединицы. Салфетки стоили дешевле воды. Всё стоило дешевле воды.

Над столом висел потрёпанный календарь смен, исчерканный маминым почерком. Рядом был прилеплен рисунок Лии, единственное яркое пятно в ячейке: жёлтый круг с лучами над синей полосой. Солнце над морем. Маркус рассказал ей про море, и она нарисовала. Солнца она никогда не видела, но нарисовала правильно.

И было окно.

Окно было гордостью ячейки: тройное, наглухо загерметизированное, сорок сантиметров на шестьдесят. Во многих ячейках окон не было совсем. Мама говорила, что за окно они переплачивают пятнадцать единиц в месяц и что оно того стоит.

Маркус спустился, стараясь не задеть Лию, и подошёл к окну.

Снаружи, как всегда, была муть — густая, желтовато-бурая, похожая на воду, в которой полоскали грязную тряпку. В ней тонули соседние ульи. Метрах в двадцати ещё угадывался контур Улья-714-Б с бесконечными рядами крошечных окон, а дальше всё растворялось. В мути плавали огни — синие, красные, белые, — и свет рекламы расползался по ней, как кровь в воде. Где-то внизу прошла магнитка, поезд на магнитной подушке. Ни день, ни ночь. В Котловине не было дня и ночи — было только время смены и время между сменами.

Ульями их называли все, даже те, кто их строил. На табличках, в документах и в сводках Совета они значились Вертикалями: «Вертикаль-714», «Вертикаль-715». Но вслух «вертикаль» не говорил никто. Говорили «улей». Потому что так оно и было: огромные башни по триста ярусов, и в каждой сто тысяч человек, слепленных в ячейки, как личинки в соты. Все жужжат, все работают, все кормят тех, кто наверху.

Между ульями не было улиц.

Точнее, они были — внизу, под мутью, там, где стоял бетон основания и старые рассыпавшиеся дома, — но ходить по ним было нельзя. Воздух у самой земли был гуще всего, там он не проветривался никогда: тяжёлое оседало и лежало. На уровне первого яруса сквозь фильтры дышалось так, что через час начинала болеть грудь.

Поэтому между ульями ездили. Магнитка шла в закрытых трубах над землёй, в которых воздух гоняли вентиляторы. Она соединяла ульи с заводами, фабриками, фермами и всем остальным, где работали люди. Внутри было тесно, тепло и всегда пахло влажной пылью. Стоил проезд по-разному: до заводов дешевле, потому что туда ехали на смену, до жилых ульев дороже.

Детство Маркуса прошло не во дворе. Дворов не было. Были галереи, шлюзы, лифты и трубы магнитки. Он ни разу в жизни не играл на земле.

Ярус определял всё. Чем ниже, тем беднее. Так было устроено, и все это знали, как знают, что вода течёт вниз.

С первого по сотый ярус было дно. Здесь жили те, кто стоял у конвейеров, чистил коллекторы и работал на станциях переработки. Здесь ели V3 и пили воду, которую прогнали через станции раз двадцать. Здесь фильтры меняли реже, чем полагалось, и люди отдыхивались чаще, чем хотелось бы. Сорок первый ярус, где жил Маркус, был серединой дна.

Со сто первого по двухсотый жили люди получше: бригадиры, техники, мастера смен, мелкие служащие. Там ели V2, а по праздникам V1. Там были ячейки «С-20» и «С-30» — с душевой кабиной и разрешёнными двумя минутами воды в день. Ещё выше, за двухсот пятидесятым ярусом, почти наверху, жили контролёры, учётчики, офицеры Серых. Там ели V1 каждый день и, говорят, раз в месяц получали по карточке настоящее яблоко. Одно.

Где-то на высоте двухсот шестидесяти ярусов проходила линия мути.

Иногда её можно было разглядеть снизу, если очень повезёт с ветром. Высоко-высоко, на самом пределе зрения, бурая взвесь вдруг обрывалась ровной горизонтальной чертой, будто кто-то провёл по небу линейкой. Ниже черты была Котловина: муть, ульи и сто миллионов человек. Выше были Купола.

Купола начинались выше двухсот восьмидесяти ярусов. Там ульи сужались и заканчивались огромными прозрачными полусферами, похожими на мыльные пузыри, надутые на макушках бетонных башен. Выше мути, под чистым небом. Там, говорили, по утрам всходит настоящее жёлтое солнце, и его видно сквозь стекло. Там квартиры огромные квартиры по 120 квадратных метров. Там прямо на ярусе, в земле, растут деревья, есть прогулочные аллеи,

сады, бассейны, ручьи. Там едят мясо — настоящее, с костями, — хлеб, который пекут каждое утро, рыбу, сыр, фрукты, ягоды. Там дышат без фильтров.

Маркус только что видел солнце. Оно лежало на воде золотой дорожкой.

— Опять до самого тарифа? — тихо спросила мама у него за спиной.

Она уже натянула серый рабочий комбинезон с нашивкой агентства «Чистый дом» на груди и стянула волосы в тугой узел. На лице у неё не было ни сна, ни чего-либо ещё. Только усталость, такая давняя, что стала чертой лица, как форма носа.

Мама была худая, но не слабая: плечи широкие и жёсткие от работы, руки с узловатыми пальцами и кожей, которая уже не разглаживалась, а лежала складками, как на стираной плёнке. Волосы она стригла коротко, и седина пошла у неё неровно, полосами, будто её провели кистью и не довели до конца. Ей было тридцать девять. На дне тридцать девять выглядит как пятьдесят, и она это знала, и никогда об этом не говорила.

В половине пятого она вставала не потому, что так было принято.

До работы она добиралась два с половиной часа. Лифт вниз, через сорок ярусов, с пересадкой на тридцатом. Галерея до станции магнитки, восемь минут быстрым шагом. Магнитка до узла у седьмого улья — сорок минут в вагоне, где сидят плечом к плечу и никто не смотрит друг на друга. Пересадка. Ещё двенадцать минут до подножия Улья-702. А потом служебный лифт наверх, двести восемьдесят ярусов, с остановками и с таким давлением в ушах, что нужно глотать. И только потом — санитарная камера, пар, ультрафиолет, чистый комбинезон.

Два с половиной часа туда. Два обратно. Пять часов дороги за восемь часов работы.

— Я выиграл, — так же шёпотом ответил Маркус. — Восемьсот искр.

Мама помолчала. Потом протянула руку и быстро тронула его за щёку, будто проверяла, тёплый ли.

— Ты молодец.

— Сегодня схожу вниз. Поменяю картридж.

Мама поняла, куда это «вниз». Она посмотрела на лёгкое, послушала его хрип, потом взглянула на красную точку Ока в углу и ничего не сказала. А потом закашлялась.

Кашель появился у неё недели три назад. Сначала короткий, сухой, по утрам. Теперь он стал глубже, словно шёл из такого места внутри, куда кашлю ходить нельзя. Мама отвернулась, достала из кармана салфетку, прижала ко рту и долго кашляла, согнувшись и держась свободной рукой за край стола. Потом выпрямилась, быстро сложила салфетку вчетверо и сунула обратно в карман.

Маркус успел увидеть, что салфетка не просто мокрая. Она была бурая, с тёмными прожилками. Такой цвет на дне знали все и все делали вид, что не знают.

— Это пыль, — сказала мама, не дожидаясь вопроса. — У Ортисов в стоке бассейна какая-то химия. Они её раз в месяц меняют. Пройдёт.

— Мам, может, к врачу? В пункт на шестидесятом…

— В пункте на шестидесятом дадут таблетку от кашля и спишут смену. А за пропущенную смену Ортисы возьмут другую. — Она сказала это спокойно, как говорят про погоду. — Пройдёт, Марк.

Она придвинула к себе кружку и добавила, будто спохватившись:

— На обратном пути зайду в светёлку. Двенадцать минут.

Светёлкой на дне называли инсоляционную камеру. Официально — «зал полного спектра», на табличках так и писали, но никто не говорил «зал». Светёлка. Комната в подвале яруса, где на потолке горят длинные оранжевые лампы, а на полу расчерчены мелом квадраты. Человек встаёт в квадрат, платит по минутам и стоит. Двенадцать минут — минимальный тариф, дальше дороже. Пахнет там горячей пылью, озоном и чужим потом, и после светёлки кожа пахнет жжёным.

Без этого нельзя: в Котловине не было солнца, а без солнца кости у детей растут криво, а у взрослых начинают крошиться зубы. Малышам светёлку оплачивало Государство — по одной процедуре в месяц, до семи лет. После семи считалось, что человек уже вырос и может позаботиться о себе сам.

Лия в свои восемь из этой очереди выпала в прошлом году. У неё начали болеть колени.

— Мам, — сказал Маркус. — Может, лучше Лии?

— Лия пойдёт в четверг, — сказала мама. — Я договорилась. — Она отпила воды и посмотрела на него поверх кружки. — Садись. Поешь.

* * *

Ели кирпич.

Кирпичом называли питательный брикет — серый прямоугольник размером с ладонь в вакуумной плёнке. На плёнке была маркировка: «ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАЦИОН. КАТЕГОРИЯ V3. Белки — 22 г. Жиры — 14 г. Углеводы — 41 г. Витаминный комплекс — стандарт Б. Произведено на благо Страты». Кирпич был плотный, чуть влажный на срезе, цвета мокрого бетона, и слабо, по-больничному пах. На вкус он был как ничего, в которое добавили соли.

Кирпичи бывали разные. В Страте всё было разным и всё делилось на сорта: еда, вода, фильтры, салфетки, светёлки, люди. V3 стоил дешевле всего, его ели на дне. V2 был мягче, витаминов в нём было больше, и его продавали со вкусами: «курица», «овощи», «сыр». Что такое курица и сыр, на дне не знал никто, но все соглашались, что это вкусно. V1 стоил как недельная зарплата, и про него говорили, что он почти как настоящая еда. Что такое настоящая еда Маркус мог догадываться только по съеденной еде в Горизонте, но насколько это были правдивые ощущения он не знал.

V2 семья брала в день маминой получки. V1 — раз в год, на Лиин день рождения: один брикет на троих, «со вкусом говядины». Все остальные дни были третьего сорта.

А наверху кирпичей не ели вовсе.

Это рассказала мама. Однажды младшая дочь Ортисов, девочка лет семи, увидела у неё в сумке брикет и спросила, что это. Мама ответила: еда. Девочка взяла брикет двумя пальцами, понюхала, рассмеялась — «Это не еда, это мыло!» — и убежала показывать сестре.

Мама рассказывала это без обиды. Просто как факт — как рассказывают о погоде.

Она разрезала кирпич на три части: две побольше и одну поменьше. Маленькую взяла себе. Одну из больших положила на тарелку и накрыла второй тарелкой — для Лии. Маркус сделал вид, что не заметил. Мама сделала вид, что не заметила, как он сделал вид. Так они и жили: каждый берёг другого от правды, которую все и так знали.

Потом мама налила воды.

Вода шла из крана два раза в сутки по сорок минут: с пяти до пяти сорока утром и с семи до семи сорока вечером. В эти сорок минут весь улей замирал и набирал воду. Опоздал утром — жди до вечера. Опоздал вечером — жди до утра. Воду набирали в бак под раковиной. Она была мутноватая, с привкусом железа и ещё чего-то, что лучше было не распознавать.

Все знали, откуда она берётся. Воду гоняли через станции переработки по десять, по двадцать раз: стоки заводов, конденсат из вентиляции, всё, что уходило в слив туалетов. Знали и молчали, как молчат за столом о покойниках.

Однажды Лия — ей тогда было лет пять — спросила за ужином:

— Мам, а правда, что мы пьём писю?

Мама поставила кружку и помолчала. Потом сказала очень спокойно:

— Правда, солнышко. Но её очень хорошо почистили. Она теперь чистая. Пей.

И Лия выпила. А Маркус в ту ночь долго лежал, смотрел в потолок и думал, что мама, наверное, самый смелый человек на свете. Потому что она не соврала.

Он жевал кирпич и смотрел, как она ест свой маленький кусок. Как медленно глотает, будто горлу больно. Во рту у него всё ещё жил призрак персика.

— Мам, — тихо сказал он. — А кто такой инженер?

Мама перестала жевать.

Первым делом она посмотрела не на него, а в угол — на красную точку под потолком. Маркус это заметил и запомнил навсегда: сначала она посмотрела на Око и только потом на него.

Потом она встала, протиснулась к нише-кухне, включила плиту и поставила на конфорку пустую кастрюлю. Плита загудела, кастрюля задребезжала. Мама наклонилась к нему совсем близко, так что он почувствовал её дыхание на щеке, и под гул и дребезг зашептала прямо в ухо:

— Где ты это слышал?

— Там. Друг сказал.

— Никогда. Никогда не говори этого слова здесь. Слышишь? Ни дома, ни на галерее, ни в лифте, нигде. Там говори что хочешь. Здесь — нет.

— Но ты же говорила, что папа был…

— Твой отец ушёл, когда Лие было три месяца, и не вернулся. — Её шёпот стал твёрдым, как стекло. — Это всё, что тебе надо знать. И всё, что надо знать им.

Она выключила плиту, и кастрюля замолчала. Мама выпрямилась, и лицо у неё снова было обычное — утреннее, усталое, будто ничего не случилось.

— Сегодня у Ортисов приём, — сказала она нормальным голосом, для Ока. — Двести гостей, вызвали всю смену. Буду поздно — к полуночи, может, к двум. Лию отведёшь к Тамаре, как проснётся, заберёшь в восемь вечера. Я с Тамарой договорилась. Кирпич на тарелке. И… — Она запнулась. — Сегодня ночью туда не ходи. Дождись меня.

— Ладно.

Она взяла сумку и намордник, проверила ремни. Потом подошла и поцеловала его в макушку — привычно и быстро, как ставят штамп. И задержалась на секунду. Он почувствовал, как она вдыхает запах его волос. Будто запоминает.

Дверь закрылась, щёлкнул шлюз. Индикатор у порога мигнул красным и через минуту погас: лёгкое выкачивало из прихожей воздух, который мама впустила с галереи.

Маркус сидел за столом и думал, что за все шестнадцать лет ни разу не видел, чтобы мама кого-нибудь боялась — даже Серых. А сейчас она боялась. Не за себя, это он понял сразу. За него.

* * *

Ему было шестнадцать, если считать по годам. По росту, весу и ширине плеч выходило лет тринадцать, и то с натяжкой. На дне все были такие. Высокие и плечистые здесь не росли. Высоких и плечистых показывали в рекламе.

На браслете был выбит номер: М3007.

Номер давали при рождении — вместе с браслетом и с первым вдохом через первый фильтр. Имена тоже давали, их никто не отменял, на всех хватало. Но имя было для своих: для мамы, для Лии, для Тамары. Для Страты — для турникетов, лифтов, раздаточных пунктов, Серых и медицинских сканеров — он был М3007. Буква и четыре цифры, а за ними, глубоко в базах, ещё хвост из сорока знаков, где было записано всё: где родился, где живёт, сколько потребляет. Индекс. Сколько стоит.

Страта. Учительница Ирен говорила, что на одном из древних языков это слово значит «слой». И что слово прекрасное, потому что общество, как земля, держится на слоях: каждый слой на своём месте, каждый несёт тот, что выше, и всё вместе стоит прочно. Маркус тогда подумал, что нижний слой ничего не несёт — его просто давят. Но вслух не сказал. Про Око он знал уже тогда.

Ирен вела в школе историю. Она была старая, с плохим кашлем, говорила тихо, ровно, всегда по учебнику. Только когда рассказывала о старых временах, голос у неё вдруг становился другим.

Раньше, рассказывала Ирен, государств были сотни, а языков ещё больше, и люди не понимали друг друга. А ещё они жгли нефть.

Нефть, объясняла она, — это чёрная жидкость из-под земли, остатки древних лесов и животных, пролежавшие там миллионы лет. Люди нашли её и стали жечь: в машинах, в домах, на заводах. Жгли триста лет без остановки и не могли остановиться. Делали из неё пластик, лекарства, одежду, дороги. Вся тогдашняя жизнь стояла на нефти, как улей стоит на фундаменте.

А потом нефть кончилась.

Сначала начались Нефтяные войны: государства дрались за последние скважины, как голодные дерутся за последний кирпич. Потом была Короткая война — она длилась одиннадцать дней. Об этих днях Ирен рассказывала мало и совсем тихо. Маркус запомнил только, что после них не стало половины городов на земле, а небо стало бурым. Потом пришли Пепельные годы. Нефти не было, электростанции лежали в руинах, и люди, чтобы согреться, жгли всё, что горит: уголь, леса, мусор, старые дома, книги. Пепел поднимался в небо и не опускался. Несколько лет подряд не было лета.

Когда-то, говорила Ирен, людей на земле было больше десяти миллиардов. После Пепельных лет осталось меньше одного.

Тогда выжившие ушли туда, где было хоть немного лучше, — в огромную котловину между горами, далеко от разрушенных городов. Здесь текла большая река, которую питали ледники. Здесь горы закрывали от ветров с пепелищ. Здесь уцелели гидроэлектростанции и старые подземные хранилища. Не рай, нет. Ирен так и говорила: «Наши предки выбрали лучшее из худшего». Сюда шли со всех концов земли, кто на чём мог, пешком, годами. Говорили на ста языках, спали в туннелях, умирали в очередях за водой.

За сто лет из всего этого сложилась Страта. Языки сплавились в один — Общий. Люди сплавились в один народ. Совет построил ульи, станции переработки, фильтры и магнитку. Совет запретил огонь. Теперь всё работало на электричестве от гидростанций и солнечных полей над Куполами — другой энергии на земле не осталось. Поэтому электричество было дорогим, поэтому его надо было беречь. Поэтому «Бережливость — долг каждого».

А муть, объясняла Ирен, досталась в наследство: пепел, яд и грязь трёх веков, накопленные в небе. Ветра со всего мира сносят её сюда, в Котловину, а горы держат её, как миска держит суп. Поэтому муть стоит над ульями, а выше черты небо чистое.

— Совет очищает небо, — говорила Ирен, и это была последняя фраза главы в учебнике. — Через сто лет оно станет чистым до самой земли.

Однажды Маркус открыл учебник на последней странице, где мелким шрифтом пишут год выпуска. Учебник был напечатан сто девять лет назад. И в нём тоже было написано «через сто лет».

А мама говорила, что, когда она была маленькая, Улей-714-Б из окна было видно целиком, до самой крыши.

В школу Маркус перестал ходить два года назад — после того как спросил Ирен, зачем они вообще учатся, если всё равно пойдут на конвейер. Он не знал ни одного человека со своего яруса, да и вообще со дна, который выучился бы и поднялся наверх. Ни одного. Купола набирали своих из своих. Со дна брали только руки.

Ирен долго молчала. Потом откашлялась в платок, посмотрела на пятно на нём, сложила платок и спрятала в карман. Посмотрела на Око в углу класса и сказала:

— Чтобы понимать, Маркус. Чтобы хотя бы понимать.

Больше он в школу не ходил. Понимать, на его взгляд, было хуже, чем не понимать.

А через полгода Ирен сама перестала приходить в школу. Одни говорили, что она отдышалась, другие — что её забрали Серые. Говорили разное, но тихо.

* * *

Лия проснулась в семь. Кашлянула, села, свесив ноги, и посмотрела на него заспанными глазами.

— Мама ушла?

— Ушла.

— Свистит, — сказала Лия и кивнула на лёгкое.

— Сегодня поменяю.

— Честно?

— Честно.

Ей было восемь. Маленькая, светлая, прозрачная, будто тоже прошла через десять фильтров: тонкие ручки в синяках от кровати, острые коленки, ссадина на подбородке — вчера съезжала с перил, хотя ей запрещено. Большие серые глаза — единственное, что в ней было крупного, — и совершенно взрослая манера молчать. Она протёрла лицо салфеткой — сначала лоб, потом щёки, потом шею, аккуратно, сверху вниз, как учила мама, — и повесила салфетку сушиться на верёвку над плитой. Потом села к столу. Свой кирпич она ела крошечными кусочками и подолгу держала их во рту, будто надеялась, что кирпич передумает и станет вкусным.

— Марк, — шёпотом сказала она и покосилась на угол. На дне дети учились коситься на угол раньше, чем читать. — А там правда есть персики?

— Есть.

— А какие они?

Маркус подумал.

— Тёплые. Сок течёт по рукам. Сладкие.

— А потом?

— А потом всё равно хочется есть.

Лия кивнула. Другого ответа она, кажется, и не ждала.

В восемь он отвёл её к Тамаре, в 41-23. В Тамариной «С-12», точно такой же, как у них, на полу сидели семеро детей — тихо, как мыши, — и смотрели на стену, по которой без звука ползли мультики, чтобы не беспокоить соседей. Мультики были все про одно: трудолюбивые муравьи строят огромный муравейник и счастливы. Тамара — большая, рыхлая, с одышкой — брала по пять единиц в день с ребёнка. Это было дёшево. На такие деньги вообще мало что можно было купить, кроме тишины.

— Куда в такую рань? — спросила Тамара, глядя на его намордник.

— За картриджем.

Тамара посмотрела на него внимательнее, чем следовало, и ничего не спросила. На дне все знали, где по утрам покупают картриджи дешевле, чем на раздаточном пункте.

— Осторожней там, — только и сказала она.

* * *

Чтобы выйти наружу, нужно было надеть намордник.

Так называли персональную маску. Маска у Маркуса была старая: чёрный силикон, давно потерявший упругость, два круглых фильтра по бокам, как жабры, и мутный пластиковый щиток для глаз. Края натёрли ему на скулах две красные полосы, которые уже не проходили. Такие полосы были у всех на дне — по ним здесь узнавали своих. Наверху, говорили, носили лёгкие, прозрачные, почти невидимые маски, и полос ни у кого не было. Фильтры Маркус менял раз в два месяца, хотя на упаковке было написано «раз в три недели». На упаковке вообще много чего было написано.

Он затянул ремни, проверил клапан и шагнул в шлюз. Шлюз зашипел, закрылся, открылся — и Маркус оказался на галерее сорок первого яруса.

Если бы его спросили, как выглядит мир, он, наверное, описал бы галерею. Узкая бетонная полка в два шага шириной, прилепленная к внутренней стене колодца. Колодец был сердцевиной улья — огромная шахта, вокруг которой, кольцо над кольцом, шли ярусы. Он уходил

вверх так высоко, что верха не было видно. Только муть, огни, лестницы, переходы, кабели, трубы и сетки. Сетки натянули на каждом пятом ярусе, когда слишком многие начали прыгать. Сетки помогли. Прыгать стали реже, а кто прыгал, падал недалеко, и санитары снимали их баграми.

По галерее непрерывно текли люди — все в намордниках, в серых, бурых, чёрных комбинезонах, и все молчали. В наморднике говорят мало: каждое слово стоит воздуха. А под Оком каждое слово стоит ещё дороже.

Сквозь фильтры всегда пахло одинаково: горелой изоляцией, мокрым бетоном и людьми. Под ногами хрустела бурая пыль. Она просачивалась сквозь любые шлюзы и оседала на всём. Её сметали каждое утро, и каждое утро она лежала снова. С верхних ярусов капало: конденсат стекал по стенам колодца и собирался на галереях в мутные лужи. Ходили слухи, что некоторые собирают эти лужи и пьют, процедив через тряпку. Маркус знал, что это не слухи.

Над колодцем, на огромном экране высотой метров тридцать, горели три строки. Они горели всегда, сколько Маркус себя помнил:

ОДНО ГОСУДАРСТВО. ОДИН ЯЗЫК. ОДНО БУДУЩЕЕ.

Ниже сменяли друг друга ролики. Улыбающаяся женщина откусывала от золотистого брикета: «V1. Вкус, который вы заслужили». Мужчина с белыми зубами стоял на зелёной лужайке под синим небом и дышал полной грудью: «Купол „Азур“. Дышите свободно». Мальчик подбрасывал мяч и смеялся вместе со щенком: «Будущее принадлежит тем, кто его выбирает». Седой член Совета в белом костюме говорил что-то ласковое и мудрое про долг каждого, про терпение, про небо, которое станет чистым.

Маркус давно гадал, для кого эта реклама. Внизу её смотрели только бедняки, а бедняки не могли купить ни квартиру в «Азуре», ни щенка, ни будущее. Может, реклама была не для того, чтобы покупали. Может, для того, чтобы помнили, чего у них нет. И где их место.

* * *

В подземку вело много путей, но ни одного официального.

Официально подземки не существовало. На схемах улья под первым ярусом шли фундамент, технические этажи и коллекторы — и больше ничего. На самом деле под ульями лежал старый город — тот, что стоял в Котловине ещё до войн, до Пепельных лет, до Страты. Его не разбирали, просто засыпали и строили сверху. Там остались туннели древней подземной дороги, бомбоубежища времён Короткой войны, склады, подвалы и коллекторы. Километры темноты, о которой Совет делал вид, что её нет.

В подземке жили те, кого не было в базах: беглые, списанные, люди с погашенными номерами. Там гнали брагу, варили таблетки, чинили краденое, перешивали маски и перебивали номера на браслетах. Там можно было купить всё, что наверху запрещено, и продать всё, включая самого себя.

Серые в подземку не спускались. Вслух об этом не говорили, но знали все. Лет десять назад Серые попробовали спуститься целым отрядом: сорок человек в шлемах, с дубинками и оружием посерьёзнее дубинок. Обратно не поднялся никто. Даже шлемов не нашли. С тех пор Совет делал вид, что подземки нет, подземка делала вид, что нет Совета, и обоих это устраивало.

Маркус спустился на лифте до первого яруса. Лифт стоил денег: браслет прикладывали к считывателю у дверей, и с него списывалось полъединицы за спуск и единица за подъём. Вниз было дешевле. Вниз мир вёз охотно.

С первого яруса он прошёл по технической галерее мимо щитовых и свернул в нишу за вентиляционным коробом, где не было Ока. Отодвинул решётку, которую отодвигали все, и полез вниз по ржавой лестнице. Тридцать восемь ступенек — он знал их наизусть. Двадцать вторую надо было перешагивать: она прогнила.

Внизу было темно, сыро и неожиданно шумно.

Рынок жил на старой подземной станции — в огромном сводчатом зале, облицованном когда-то белой, а теперь бурой плиткой. На стенах сохранились обрывки древних надписей на каком-то мёртвом языке; прочесть их не мог никто. Между колоннами лепились лотки, будки, палатки из брезента и пластика, навесы из старых рекламных щитов. Под потолком висели гирлянды тусклых ламп, запитанных от кабелей, которые кто-то давно и очень аккуратно врезал в сеть улья. Между лотками на электрических спиралях стояли жаровни, и на них жарили что-то, о происхождении чего лучше было не спрашивать. Пахло горелым жиром, брагой, озоном и сыростью. Люди здесь говорили громко, смеялись, торговались и ругались. Здесь не было Ока.

Маркус всякий раз удивлялся этому, когда спускался: здесь, в темноте, среди беглых и списанных, люди звучали живее, чем наверху.

Продавали здесь всё. Самодельные фильтры, восстановленные картриджи, маски с чужих лиц. Ворованный V1 с ферм, просроченный V2 со складов, «Гигиену» поштучно. Дождевую воду в мятых бутылках: её собирали на крышах верхних ярусов и спускали вниз по старым трубам. Стоила она втрое дороже водопроводной, потому что прошла через небо всего один раз. Таблетки от кашля и таблетки, которые помогают не думать о кашле. Перебитые браслеты, чистые номера. Обручи всех поколений, шлейфы, контакты.

Гриц сидел в своей будке в дальнем конце зала, у четырнадцатой колонны. Будка была сварена из листов металла и изнутри обклеена старыми рекламными плакатами, с которых улыбались женщины с V1. Сам Гриц был старый, лысый, с жёлтой, как старая бумага, кожей, в которой глубокие морщины лежали поперёк лба, будто её когда-то сложили и разгладили. На руках у него был узор из белых шрамов — такие остаются у людей, которые много лет держали острое и не всегда удачно. Из левого уха торчала тугая капсула слухового аппарата, из-за которой он всегда говорил громче, чем нужно. Вместо намордника он носил на всю голову прозрачный колпак с собственным рециркулятором. Таких колпаков на дне не было больше ни у кого. Говорили, что Гриц — единственный в подземке, кто дышит, не думая о каждом вдохе. Говорили, что колпак ему подарили в Куполах. За что — не говорили.

Гриц менял искры на единицы. Официально это делали через государственный терминал: там за сто искр давали семь единиц, и каждая сделка ложилась в индекс. Гриц давал девять, и в индекс ничего не ложилось.

— Сколько? — спросил Гриц, не поворачивая головы. Из-под колпака голос звучал глухо, как из аквариума.

— Шестьсот.

Восемьсот были на всех. Его половина — четыреста, плюс двести, что остались с прошлой недели. Маме он сказал «восемьсот», потому что восемьсот звучало лучше.

— За шестьсот искр ты получишь пятьдесят четыре единицы, — сказал Гриц. — Что берёшь?

— «Вдох-3».

— «Вдох-3» сегодня шестьдесят.

— На прошлой неделе был пятьдесят два.

— На прошлой неделе был другой курс. — Гриц пожал плечами. — Курс, мальчик, как погода. Его не выбирают.

— Пятьдесят четыре, — повторил Маркус. — Больше нет.

Гриц помолчал, потом протянул сканер. Маркус приложил браслет, цифры на экране мигнули и обнулились. Кондор, Бык, Граф, новичок в жёлтом. Шпилька Чайки, двадцать сантиметров до неба. Три недели ночей — в одну коробку.

Гриц сунул руку под прилавок и выложил картридж — без коробки, со стёртой маркировкой и вмятиной на боку.

— Восстановленный, — буркнул он. — Но рабочий. Месяц протянет.

— Это не «Вдох-3».

— Это «Вдох-3», только им уже один раз дышали. — Гриц усмехнулся под колпаком. — Бери, пока я добрый.

Маркус взял. Выбора не было, и оба это знали.

Он уже повернулся уходить, когда взгляд зацепился за витрину сбоку от прилавка. Раньше её здесь не было. Под толстым стеклом на чёрном бархате лежали в ряд крошечные серебристые зёрна — каждое с ноготь мизинца, с тонкими, как волос, золотыми усиками.

— Нравится? — Гриц проследил его взгляд.

— Что это?

— Шунт. Прямой вход. — Гриц постучал жёлтым пальцем по колпаку там, где под ним был висок. — Без обруча. Зерно ставится сюда, под кость. Пятнадцать минут работы, хирург у меня свой. И ты там — целиком. Не наполовину, как сейчас с твоей ржавой короной, а целиком, каждой клеточкой. Видишь лучше, слышишь лучше, двигаешься быстрее. Обруч, мальчик, тебя притормаживает. Ты даже не знаешь насколько.

— Зачем мне это?

Гриц внимательно посмотрел на него, будто прикидывал, сколько тот стоит.

— Про Яму слышал?

Маркус слышал. Слышали все — но шёпотом, даже в Горизонте. Яма была где-то там, куда не вели ни карты Финча, ни трассы. Говорили, что вход туда находят только те, кого позвали. Там дрались. Не как на обычных аренах, где тебя выкидывает, если пропустишь удар. В Яме дрались до конца.

— За один бой в Яме платят больше, чем твоя мать заработает за год, — сказал Гриц. — За хороший бой — больше, чем за десять. Это я не про твои гонки, мальчик. Это я про настоящие деньги.

— С обручем туда не пускают?

— Не пускают. И не из жадности. — Гриц покачал головой. — Обруч что? Он пугливый. Пропустил удар — и он тебя выкидывает, бережёт. А шунт держит крепко. Боль вся твоя, сто процентов, до последней капли. И выкинуть тебя он не выкинет. Пока бой не кончится.

— А если проиграешь?

— А если проиграешь… — Гриц развёл руками. — Что с тобой там, то и тут. Шунт не разбирает, для него там и тут — одно и то же. Сердце останавливается. Мозг выгорает. Тихо, быстро. Говорят, даже не больно. Но так говорят те, кто не проигрывал.

Маркус слышал и об этом. О людях, которых находили на полках в их ячейках — без обручей, с крошечным свежим шрамом за ухом. С такими лицами, что санитары накрывали их, не дожидаясь сканирования. Говорили, что матери таких узнают своих детей только по браслету, потому что лицо уже не лицо, а что-то другое, чему нет названия.

— Сколько стоит? — спросил он и сам удивился, что спросил.

— Двести единиц. — Гриц улыбнулся, и улыбка у него была жёлтая, как кожа. — Если нет денег, можем договориться.

— Мне не надо, — сказал Маркус.

— Конечно, — легко согласился Гриц. — Никому не надо. Все так говорят. — Он отвернулся к своим плакатам. — Пока не прижмёт.

* * *

На обратном пути, у лифта первого яруса, Маркус увидел лежащего.

Мужчина лежал у стены возле дверей лифта, подогнув ноги, как спящий ребёнок. Немолодой, в робе фильтровального завода. Намордник валялся рядом. Видно, снял его сам: говорят, в последние минуты все снимают — кажется, что без маски станет легче. Лицо синевато-серое, рот и глаза приоткрыты, на губах засохла бурая пена, и от угла рта по подбородку

тянулась тёмная полоса. Пальцы левой руки были скрючены, будто он пытался что-то поднять и не смог. Он умер не сразу. Он умирал здесь, у всех на виду, и никто не остановился.

Люди обходили его и переступали через ноги. Никто не останавливался. Молодая женщина с сумкой на плече брезгливо подобрала полу плаща, чтобы не задеть. Мужчина за ней прошёл, не опустив головы. Мальчишка лет двенадцати, в отцовском комбинезоне, обернулся и долго смотрел — пока мать не дёрнула его за рукав так, что он споткнулся. Око над дверями лифта смотрело на всё это красной точкой.

«Отдышался» — так это называлось. Слово короткое, почти ласковое. Будто человек долго бежал, устал, а теперь наконец отдышался.

Маркус тоже не остановился. Только чуть замедлил шаг и успел заметить синий заводской браслет на запястье. И руку — тонкую, с выпирающими косточками, совсем как у него самого. Через полчаса придут санитары, просканируют браслет, погасят номер и увезут тело вниз, на станции переработки. В Страте ничего не пропадало. «Бережливость — долг каждого».

Маркус старался не думать о том, что станции переработки делают с тем, что к ним привозят. Об этом на дне рассказывали шёпотом и всегда одинаково: «Мне говорил человек, который там работал». Ни один из этих людей ни разу не назвал себя. Говорили ещё, что V3 берётся оттуда — что его делают из того, что однажды уже было человеком. Маркус не верил. Маркус очень хотел не верить. Особенно по утрам, когда мама разрезала кирпич.

Пришёл лифт. Маркус втиснулся внутрь, где уже стояли человек тридцать, хотя на табличке было написано «24». Его прижали к стене чьей-то спиной. Рядом кто-то долго, со всхлипами, кашлял в маску, и все вокруг делали вид, что не слышат. В лифте никто ни на кого не смотрел. Посмотришь — значит, увидишь. А увидишь — придётся что-то с этим делать.

Он сжимал в кармане картридж, и ему казалось, что намордник дышит тяжелее обычного.

* * *

Лёгкое приняло картридж с тихим щелчком. Маркус закрыл крышку, нажал кнопку сброса, и жёлтый индикатор погас. Секунду ничего не происходило. Потом в глубине короба загудело, зашелестело — и свист пропал. Фильтр задышал ровно и глубоко, как здоровый спящий человек.

Дома было пусто и непривычно тихо. Маркус лёг на верхний ярус и попытался уснуть: днём надо было спать, ночью был Горизонт. Сон не шёл. Он смотрел в потолок и думал о маяке и чёрном фонаре, который никогда не горел. О слове, которого больше нет. О том, как мама сначала посмотрела на Око и только потом на него.

Инженер. Тот, кто придумывает, как устроены вещи.

Если отец придумывал, как устроены вещи, почему он не придумал, как им жить? Почему ушёл? И куда вообще можно уйти из Страты, если Страта везде?

Потом он всё-таки уснул, и ему снилось море.

* * *

В восемь вечера он забрал Лию. Дома она первым делом подошла к лёгкому, встала под ним на цыпочки и долго слушала.

— Не свистит, — сказала она.

— Не свистит, — согласился Маркус.

Она улыбнулась. Улыбалась Лия редко и осторожно, будто боялась, что улыбку отнимут. Ради этой улыбки, подумал Маркус, можно было бы отдать Грицу и тысячу искр. И десять тысяч. Вообще всё.

Они съели её кирпич пополам, хотя она отказывалась. Потом сидели на маминой кровати и смотрели в окно, где в мути медленно, как рыбы, плыли огни.

Лия спросила, есть ли там собаки. Маркус сказал, что есть. Лия спросила, можно ли их гладить. Маркус сказал, что можно и что они тёплые. Потом Лия наклонилась к самому его уху и прошептала:

— А правда, что там можно говорить всё, что хочешь, и никто ничего не сделает?

— Правда, — прошептал он в ответ.

Лия подумала и покосилась на красную точку под потолком.

— А почему здесь нельзя?

Маркус не нашёлся, что ответить. Он подумал о Бо, который орал на чаек. О том, что там Бо смелый, а здесь, наверное, такой же, как все: идёт по галерее в намордник и молчит. Потому что каждое слово стоит воздуха. Потому что Тобиас из 41-17 сказал: «Ну я же скоро».

В десять Лия уснула.

В полночь начался ночной тариф. Обруч лежал под подушкой. В час ночи Финч и Бо будут ждать на Северном плато — Финч там что-то нашёл. Маркус достал обруч, подержал в руках, чувствуя холодок контактов, и положил обратно.

«Дождись меня», — сказала мама.

Он сел на мамину кровать и стал ждать.

* * *

В час ночи её не было.

Это было нормально. Приём у Ортисов, двести гостей. После таких приёмов смену не отпускают, пока не вымыта последняя тарелка, последний сток, последняя мусорная шахта. Потом санитарная камера, переодевание, контроль. Потом лифт вниз, до линии мути. Потом магнитка через полгорода. Потом ещё лифты — и всё это со сменой вагонов и пересадками, где никогда не совпадает расписание.

Её дорога домой была длиннее, чем дорога на работу. В два с половиной часа она укладывалась только утром, когда поезда шли пустыми. Ночью магнитка ходила редко, и в вагонах ехали такие же, как она: те, кто мыл чужие бассейны и выносил чужой мусор.

В два её не было.

Маркус набрал её номер на браслете. Браслет помолчал и мигнул жёлтым: «Абонент вне зоны доступа». Это тоже было нормально. В Куполах была своя сеть, для своих. Мама говорила, что, как только лифт поднимается над чертой, её браслет немеет, как кирпич.

В три её не было.

Он набирал ещё и ещё. Браслет мигал жёлтым. Маркус ходил по проходу между кроватями — два шага туда, два обратно, — останавливался у окна. Муть за окном была такая же, как всегда, огни плыли, как рыбы. Внизу прошла магнитка, и стекло мелко задрожало.

Он думал о салфетке, сложенной вчетверо, бурой, с тёмными прожилками. О том, как мама глотала кирпич — медленно, будто горлу больно. О том, как она вдохнула запах его волос. Будто запоминала. Думал о светёлке: двенадцать минут, и это в её лучший день, а сегодня она шла туда после двенадцати часов на ногах.

Думал о мужчине у лифта — с синим браслетом, скрюченными пальцами и бурой пеной на губах. О мальчишке, который обернулся. О матери, которая дёрнула его за рукав так, что он споткнулся.

Он заставил себя перестать думать.

В четыре её не было.

Лёгкое дышало ровно и глубоко, как здоровый спящий человек. Оно было рассчитано на троих. Лия спала на нижнем ярусе, свернувшись, и дышала тихо, без присвиста. Маркус сидел на тонком матрасе маминой кровати, который пах мамой, и смотрел на часы над дверью.

04:28.

04:29.

Ночной тариф кончился. Где-то в стенах щёлкнуло: улей переходил на дневную сетку. Индикаторы лёгкого чуть притухли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.